



Г. П. ФЕДОТОВ

Христианин в революции

Вокруг слова «революция» давно уже сгустилась атмосфера опасной двусмысленности. Еще марксисты злоупотребляли этим термином, понимая его то в социологическом, то в политическом смысле. В наши дни эта двусмысленность нередко поражает в устах многих представителей христианской молодежи на Западе. Здесь, особенно во Франции, слово революция сейчас звучит обаятельно для людей доброй воли, которые хотят разрушить все мосты между берегом «Нового Града» и буржуазным обществом. Но те же люди, которые заявляют себя революционерами, желают предупредить гражданскую войну, свести до *minimum*'а элемент насилия в переходный период, хотя и не считают возможным от насилия совершенно отказаться. Революция, говорят они, это не убийства, не казни, не грабежи, революция — положительное дело создания нового общества. И, однако, в это же самое время в одной стране мира происходит революция, которая именно и означает убийства, казни, грабежи и порабощение народа — во имя создания нового общества. Там заявляют, что других путей к будущему нет, что «революции не делают в белых перчатках» (последнее, безусловно, верно). Несомненно, что коммунист и молодой католик (или англиканин) понимают революцию в разном смысле. Но сходство имени и символики создают иллюзию душевной и духовной близости. Давно пора внести ясность в этот идейный и психологический хаос. Наш русский, и притом двойной, опыт — борьбы с деспотизмом царской и революционной власти — мог бы пригодиться для Запада. К сожалению, национальный опыт, как и личный, не передается чужестранцам, а русская революционная молодежь, по односторонности и ограниченности своего (антибольшевистского) опыта, менее всего способна к объективности суждения.

I

Возьмем революцию в самом широком, социологическом смысле слова. Революция — радикальный перелом, переворот отношений, перестройка жизни, реконструкция. В более органическом понимании — это обновление, возрождение, новая жизнь (*vita nuova*). Все говорят об индустриальной революции в Англии, о революции языка, совершенной Ломоносовым, а после него Карамзиным, о революции нравов, быта в новые столетия истории. Но говорят также о революции, внесенной в мир христианством. Уже в этом словоупотреблении можно почувствовать многообразие оттенков: в революцию мы вкладываем то механический, то органический, то духовный смысл.

С другой стороны, все эти «революционные» процессы отличаются разной степенью остроты: и темпов развертывания во времени, и насильственности разрыва с прошлым. Существенным остается — радикальность обновления, новая жизнь, которая не хочет быть продолжением старой, но кончает с ней, чтобы устремиться в будущее. Возьмем, прежде всего, революцию в этом, самом общем смысле, в применении ко всем сферам культурной и социальной (не политической только) жизни, и спросим себя, каково отношение христианства к такой революции.

Ответ, мне кажется, не допускает сомнений. Обновление, новая жизнь — суть понятия существенно христианские. Это античный мир жил идеей совершенного круга, вечного возвращения и покорности природным законам бытия. Христианство, объявив войну природной жизни, — как зараженной грехом, зовет к совершенно новому, ино-природному порядку бытия: к Царству Божию. И на пороге этого царства встречает требованием покаяния: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». «Покайтесь» — *metanoete* — значит перемените мысли, переродитесь духовно. «Рождение духом», о котором говорит Евангелие от Иоанна, есть более сильное, онтологическое, выражение того же факта. Обращения великих святых — ап. Павла, Августина, стольких аскетов, отрекавшихся от мира, суть свидетельства духовной революции, существенной для высшего, благороднейшего типа в христианстве. Христианская жизнь начинается с кризиса, но в кризисах она и протекает. Покаяние не однократный акт, но состояние перманентное. Власть греха не побеждается в одном порыве, но требует все новых усилий, все новых отречений. Ошибочно думать, что «обращение» не повторимо: что, вступив в Церковь или в монастырь, святой остается раз навсегда связанным непрерывностью закона, традиции, нового быта. Нет, власть греха сопровождает

его и в новых условиях жизни; она оплотевает в быте и делается тяжестью, гириями на крыльях души. Рождаются необходимость все новых разрывов, новых бегств: из одного монастыря в другой, из монастыря в пустыню, из пустыни или затвора в мир. Это внешние, видимые черты разрывов. Им соответствуют духовные революции, перемены путей. Эта христианская направленность — вперед и выше! — выражена ап. Павлом в известных словах: «Забытая заднее, простираюсь вперед» (Фил 3, 13). Мы не упускаем из вида, конечно, что в христианском отречении рвутся паразитарные нити греха, а не ростки новой жизни — Царства Божия. В Царстве Божьем нет места революции. Оно уподобляется дереву, растущему из семени, или источнику, текущему в жизнь вечную. Говоря о жизни в Царстве, можно употреблять только органические образы. Но в обращенности к миру эта же самая жизнь требует больших и малых отречений, надрубов и разрывов. Она оставляет за собой кровотокающий след.

Все это охотно признается для личной жизни, но, странное дело, когда заходит речь о социальном обновлении, христиане начинают пятиться, уклоняясь от ответственности и борьбы, иной раз откровенно защищая социальный грех. Люди, лично безупречные и бескорыстные, выступают защитниками зла только потому, что зло, существуя века или тысячелетия, приобрело обаяние традиции. Византия, из всех христианских культур, всего более содействовала освящению социального зла. Она приняла без возражений все социальное наследие языческого мира и сообщила ему сакральное помазание. На тысячелетия в Греции и на столетия в России — с тех пор (XVI век), как наша родина осознала себя наследницей Византии, под видом церковного предания хранятся «гражданские законы» римской языческой империи. Таковы религиозные корни русского «черносотенства», из которого до сих пор обозначился лишь один религиозный исход — в пустыню, в аскетическое равнодушие ко всему миру Кесаря. Но такому исходу противостоит положительная социальная активность, благое христианское противление злу — в древней, домосковской Руси и на средневековом Западе. А еще глубже в прошлом — социальная традиция раннего христианства и греческих отцов, мессианская проповедь Спасителя и все никогда не стареющее содержание пророческого откровения Ветхого Завета. Нет, откровенная религия в Израиле и в новозаветной Церкви была социальной ранее, чем стала личной; и Царство Божие было прежде Царством народа Божия, чем Царством в душе человека.

Должно быть, наконец, установлено равновесие между личной и социальной этикой христианства. Грешно потворствовать своей

личной, духовно-телесной природе; но столь же грешно склоняться перед природой общественной. Покаяние обращено не только к личности, но и к обществу, нации, классу, к каждой социальной группе. Покаяние есть призыв к обновлению, к новой жизни — в обществе, как и в отдельной душе. Педагогическая постепенность роста, воспитание в добре, на одном конце, — и реформизм, культурная эволюция — на другом. Но ни воспитание, ни эволюция не исключают христианской требовательности, жажды целостного обновления, не исключают и порываний к нему, моментов разрыва старых уз греха и бурного творчества новой жизни. Если называть это революцией, то отличие христианского и секулярного сознания в отношении к революции не в том, что первое более консервативно или умеренно (вернее, как раз наоборот), но в том, что резкость христианского отрицания направлена на существующее зло, а не на критерий добра. Новый мир, долженствующий вырасти из старого, строится на вечных началах, заложенных в человеческом духе и данных в откровении; а не на новых принципах, открытых вчера или сегодня Руссо, Марксом, Лениным. Наша традиционность, наше уважение к Преданию, означает верность традиции добра, а не зла. Мы не зачинатели нового мира, а работники в винограднике Божиим, или воины в Его рати, связанные преемственностью поколений и единством животворящего Духа. Христианская переоценка ценностей всегда относится к ценностям относительным и не посягает на абсолютные Начала. Нам чужд всякий натурализм, или адамизм, желающий «начать с начала» — от зверя или первого человека. Нам чуждо и идолопоклонничество перед новым как таковым. Новое зло, конечно, хуже старого добра. Если же новое имеет все-таки преимущество перед старым, то лишь в том, что зло, присущее, неизбежно, старому обличено и явно для всех, а зло, стремящееся родиться с новым, не ясно и не имеет характера природной неизбывности. В принципе мы не за новое и не за старое, а за вечное. Но вечное не может иначе воплощаться во временном, как в вечном творчестве новых форм (закон временного бытия), в вечном обновлении новых форм, если угодно, — в революции.

II

Это христианское оправдание революции в ее самом общем духовно-социальном смысле нисколько не предрешает нашего отношения к тому особому социальному феномену, который называется в узком, политическом смысле революцией. Но и здесь необходимы разграничения. Есть революции и революции.

Отличительный характер политического (связанного с государством) сектора культуры — в его особо тяжелой обремененности грехом. В отличие от многих высших (искусство) и низших (хозяйство) сфер культуры, где зло является паразитом, непредусмотренной, хотя и неизбежной заразой, в политике зло — в виде насилия — присуще самой ее природе. Это та сфера культуры, где зло обуздывается средствами зла. Такова трагедия падшего человека, что он не волен уклониться от рокового участия, хотя бы и пассивного, в политическом зле. И если бесспорно и право христианское оправдание государства и подчинение ему (Рим 13 и Петр 2), то столь же оправдано, хотя нередко оспаривается, право христианина на сопротивление государству. В силу того же закона греха всякая власть способна к вырождению, при котором забвение положительных ее целей или имморализм средств начинают разлагать и отравлять общественную жизнь. Тогда восстание против тиранической или несправедливой власти может стать долгом. История полна примеров славных и праведных восстаний: юный Давид, по воле Божией, свергает помазанника Саула, Дмитрий Донской и Пожарский поднимаются против законных, хотя и иноземных царей. Сколько современных наций обязаны самым своим государственным существованием революции против тиранической власти: Швейцария, Голландия, Соединенные Штаты, Бельгия, Италия, Ирландия, Польша. В истории России перевороты 1763 и 1801 гг. начинают самые блестящие царствования. Июльская революция (1830 г.) во Франции дает спасительное и сравнительно легкое разрешение узлу, запутанному старой династией. Для Англии ее бескровная «славная» революция 1888 г. начинает эру мирного и счастливого политического развития.

Но не о таких революциях — восстаниях, переворотах, освободительных войнах — идет речь, когда в наше время ставится вопрос о праве христианина участвовать в революции. Революции нашего времени отличаются особенной насильственностью и жестокостью борьбы. Для них гражданская война не случайный эпизод, а определяющая форма, ибо движущим их началом является борьба классов. Их целью является не смена правительств или даже политического строя, а радикальная перестройка всей жизни. Их самосознание — максималистично. Они ставят своей целью выкорчевать с корнем все, что напоминает о ненавистном прошлом. Начать новую эру. Быть собственным предком. Первым человеком на земле.

Революции наших дней явно стремятся быть Великими, в том смысле, в каком французская получила это имя. Французская революция долго была единственной в своем роде. Английскую

(Civil war) нельзя принимать всерьез. Она ничего не изменила ни в социальном, ни в духовном строе Англии. После Кромвеля жизнь возобновилась с той же точки, где ее преемство было порвано гражданской войной. Лишь русская революция была второй Великой. Что это значит? В чем «величие» этих революций?

Прежде всего, в объеме охваченных движением масс. Русская революция в особенности всколыхнула все медвежьи углы — вплоть до тайги, тундры и пустыни. Она вызвала самые низшие слои масс на борьбу за новую жизнь.

Во-вторых, в ожесточенности борьбы, которую ведут не вожаки, не кланы интеллигенции, но сам народ, надвое разделившийся — брат на брата и сын на отца. Следствием этого — необычайное зверство и «величие» злодеяний. Когда встает «Ахеронт», смывая все преграды религии, морали, культуры, он не только страшен, он гнусен.

В-третьих, в глубине и мощности произведенного катаклизма. Вся жизнь перевернута до дна. Кажется, что все корни ее, уходящие в историческую почву, перерезаны. Будущий историк покажет, конечно, переживание прошлого в настоящем, наметит пунктирную линию преемственности. Но основное и самоочевидное впечатление — разрыва.

В-четвертых, в радикализме доктринального отрицания. Чтобы произвести столь «великий» переворот, нужно иметь мощный психологический рычаг. Революционное отрицание должно быть интегральным. Оно направлено одновременно на Бога, на царя и отечество, на дворянство, буржуазно, интеллигенцию и даже на кулачество, т. е. на само крестьянство, на собственность и быт, нацию и семью, на мораль как таковую и на культуру, как буржуазную. Из всеобщего потопа уцелело несколько брошюрок Маркса и Ленина. Извольте на этом построить новую жизнь. И опять-таки через 16–20 лет начнется реставрация разрушенных ценностей. Восстанавливается в своих правах родина, семья, культура и т. д. Но прочно ли новое здание? На каком фундаменте оно зиждется?

Из этой социальной феноменологии «Великой» революции вытекает, прежде всего, ее основной, принципиальный имморализм. Он выражается не только в апофеозе зверства, но, что еще хуже, во всеобщем рабстве и лжи. И рабство, и ложь суть результаты торжества силы, неизбежного в итоге войны всех против всех. Великая революция, начинающаяся во имя свободы, кончается всеобщим порабощением. Люди, отрекшиеся от старой чести и совести, не имеют духовных сил сопротивления. Ложь становится единственным способом спасти свою шкуру и устраивать свою личную жизнь на развалинах. Под прикрытием пустой и лживой

фразы новый хищник старается обеспечить свою берлогу — в ожидании того времени, когда он сможет превратить ее в укрепленный замок нового господствующего класса.

Историк-оптимист, историк-гегельянец (а XIX век знал почти исключительно таких) считает эту жертву революционного поколения неизбежным и оправданным выкупом за новую жизнь. Да, поколение Робеспьера удобрило своей кровью и подлостью почву, на которой поднялась цветущая нива Франции. Все государственное и социальное здание новой Франции создано революцией. На Франции стоит остановиться. Русская революция еще не создала новой России; будущее еще не видно отчетливо за пылью стройки. Франция единственная страна, на которой можно изучать механизм «великой» революции.

Бесспорно, что французское государство воссоздано революцией и, может быть, крепче, чем оно было при монархии. Но уже здесь, в политической сфере, следует отметить, что механический, бездушный его характер — печать чиновничьего централизма, лишь прикрытого демократической мантией, является прямым наследием деспотизма и рационализма революции (Наполеона). Социальный строй новой Франции еще меньше удовлетворят нас. Столь типичный для нее мелкий собственник — действительно, созданный революцией — обладает чертами, которые давно уже сделались преградой для всякого социального прогресса. Пресловутая жадность и эгоизм французского крестьянина, потерявшего всякую интимную связь с матерью-землей и ушедшего в голое накопление, создало тип земледельца, неслыханный в истории мира. На нем, на этом носителе социальной пирамиды *par excellence*, наслаиваются другие пласты стяжателей, рантье, торговцев, спекулянтов — среди которых производитель, настоящий «капитан индустрии», вовсе не является ведущей социальной фигурой. Паразитарность и анти-общественность составляют основу французского капитализма. Вы скажете, капитализма вообще. Нет, ибо в англо-саксонских странах или даже в старой Германии капитализм старался сочетать (с таким же относительным правом, как и феодальное дворянство) присущую ему жестокость эксплуатации с основами традиционной морали: буржуазной честности, дисциплины и даже служения общему благу. Отсюда нравственная крепость англо-саксонского общества, столь же, но по-иному, буржуазного, как общество французское. Разница в том внутреннем, духовном опустошении, которое революция внесла в буржуазное сознание. Французский стяжатель — безбожник, лишь иногда, в высших слоях, лицемерно прикрывающий свое безбожие католической обрядностью. Для освобожденного,

но духовно опустошенного сына «третьего сословия» не осталось другого смысла жизни, как накопление да еще маленькие чувственные удовольствия — стола и постели. Так на наших глазах за XIX век разлагается и гибнет один из прекраснейших национальных характеров нового человечества: народ Жанны д'Арк, народ Паскаля. Он еще, к счастью, не погиб, и силы сопротивления не иссякли. Но этим сопротивлением он обязан, прежде всего, тому, что победа Великой Революции и ее мирозерцания не была ни всеобщей, ни бесспорной. Преодоление зла, нанесенного ей, составляет содержание всей духовной культуры новой Франции.

Но с этим преодолением связано новое зло. Революция не кончилась на почве Франции. После столетия баррикад и восстаний, после насильственной смены стольких режимов она продолжается в душах. Франция и поныне, как в конце XVIII века, распадается на два стана, и главной основой разделения является принятие или отрицание революционного наследства. Политические или социальные программы лишь отдаленно связаны с этим наследством. Оно чисто идеологического или даже теологического порядка. Реальные программы имеют очень мало значения во французской политической жизни. Люди борются за идеи — или за призраки — точнее, против идей или призраков: против «революции» или «реакции», которым не соответствует почти ничего в реальной действительности. Отсюда бесплодие французской политики. Победа левых или правых выражается, прежде всего, в сведении личных счетов. Борются масоны против клерикалов, борются за Дрейфуса или против Стависского. В итоге борьбы не меняется ничего. Франция продолжает быть одной из самых отсталых стран Европы. Но вся политическая атмосфера отравлена беспричинной ненавистью, корни которой восходят к годам террора. Единство нации оказалось не восстановленным.

Мы не знаем, исцелит ли когда-нибудь Франция свою незаживающую рану или до конца своей земной истории будет сочиться кровью. Во всяком случае, ее судьба не дает никаких оснований для оптимистической историософии «великих» революций.

В противоположность марксистски-гегельянским схемам, которые видят в революции нормальное, закономерное явление общественной жизни, надо сказать: революция (т. е. великая революция) есть не только катастрофа, но и тяжелая (излечимая ли?) болезнь нации. Она есть следствие социального склероза, при котором борьба классов и духовных течений не может найти исхода в относительной победе новых идей или в добром компромиссе. Тогда происходит обвал всего общественного здания. Механичность этого образа в сущности заслоняет трагизм положения.

Обвалившееся здание можно выстроить наново и в лучшем стиле. Но можно ли излечить склероз или рак? Нам не известны законы социальной патологии, но опыт показывает, что революция есть не радикальное средство от болезни (*ignis sanat*), но лишь обостренная форма течения болезни. Она ничего не разрешает, а лишь углубляет болезненный процесс, переводя его из сферы политической или социальной — в сферу духовную, где излечение его становится необычайно трудным и даже сомнительным.

III

Революция наших дней имеет одно коренное отличие от всех прежде бывших или даже чаемых революций. Оно заключается в том, что это революция социальная, или, точнее, конструктивная. Она стремится не только к разрушению старой несправедливости, сколько к построению нового общества. Ее социальный (а не политический) характер указывает на глубину и всесторонность переворота, которую она несет с собой. Ее конструктивность — на перевес положительных моментов в ней над отрицательными. Доселе революция ставила себе целью освобождение, разрыв цепей, снятие устарелых форм. Положительное творчество новой жизни предоставлялось органическим силам самой жизни. Государственное вмешательство сводилось к *minimum*'у. Весь смысл буржуазной, хотя бы «великой» революции — в освобождении личности и в предоставлении хозяйственной жизни игре естественных сил. Оптимизм XVIII века ручался за неизбежность гармонии, возникающей из хаоса.

Теперь положение изменилось радикально. Революционер мечтает не о свободе, а о «порядке», конечно, новом, но все-таки порядке: о рациональной организации всей жизни государственной властью. Не заключает ли, в этих условиях, понятие социальной революции внутреннего противоречия?

Мы думаем, что да. Революция как политический феномен — в смысле «великой» революции — исключает возможность социальной реконструкции — по крайней мере, в том демократическом и народолюбивом смысле, в каком творцы социализма определяют его смысл. Мы думаем — и опыт России подтверждает это априорное убеждение — что социальная революция уничтожает как раз те условия, материального и духовного порядка, которые необходимы для реконструкции.

Условия материальные. В гражданской войне, неизбежно сопутствующей такой революции, гибнут без счета веками накопленные материальные ценности: заводы, машины, запасы сырья

и хлеба, необходимые для восстановления хозяйства. В несколько лет общество опускается до самых первобытных, натуральных условий хозяйствования. Особенно тяжка утрата технических навыков, обученных «кадров», офицеров индустриальной армии.

В условиях первобытной, звериной борьбы за существование может возникнуть новое крепостничество, новый феодализм или государственное рабство — скорее, чем социалистическое, т. е. общественное хозяйство.

Условия духовные. Борьба за существование среди голодных людей, разделенных жесточайшей классовой ненавистью, приобретает неслыханную и в буржуазном обществе остроту. В этой обстановке находит себя настоящее воплощение принцип: человек человеку волк. Только насилие может обуздать зверя и заставить его работать. Всякая возможность кооперации, товарищеского труда, социальной демократии разрушена заранее и надолго. Если в подобной обстановке победителем окажется государство, а не класс новых хищников (создателей нового феодализма), то это государство может быть только рабовладельческим. Сколь бы полно ни проводилась им национализация жизни и хозяйства, это не имеет ничего общего с проблемой социальной реконструкции. Проблема именно заключалась в необычайно трудном и тонком сочетании свободы и необходимости, личного и общественного фактора производства. Нужно освободить трудящегося, а не закрепить его государству. Истинное освобождение возможно не сверху, а снизу, вернее сверху и снизу одновременно, как организация вольного сотрудничества в твердых рамках плана, созданных государством. Без наличия одной из посылок — вольного сотрудничества или плановой организации — социальная реконструкция невозможна. СССР не решение, а провал, при всех возможных технических его достижениях. Ибо в СССР убиты самые основы социалистической и даже вообще подлинной социальной жизни.

Если политические проблемы допускают, а иногда требуют разрешения мечом, то социальная проблема наших дней нуждается в социальном мире, как единственной возможной атмосфере для ее решения. Социальная революция есть *contradictio in adjecto*¹.

IV

Из всего сказанного вытекает непосредственно ряд императивов, определяющих отношение христианина к революции вообще и в частности к революции нашего времени.

а) Прежде всего мы должны стремиться, всеми силами, к постоянному и благому обновлению жизни: к повышению справед-

ливости, человечности, братства, свободы во всех человеческих отношениях — в том числе общественных и государственных. Эта «оптимизация» жизни достигается как улучшением человеческого материала или этического содержания, заполняющего социальные формы, так и улучшением самих форм. Формы оказывают могущественное («формующее») влияние — положительное или отрицательное — и на образование самой человеческой личности. Пренебрежение к ним означает запущенность и дичание социальной культуры. Социальные формы, до известных пределов, допускают последовательное, эволюционное усовершенствование. Старея и изживая себя окончательно, они требуют замены их совершенно новыми основами социальной жизни. Органическая эпоха прерывается критической — эпохой радикального обновления, перестройки, революции. Мы живем именно в такое время. Работать в целях полного обновления жизни — и не в последних, а в первых рядах строителей, — таков первый социальный долг христианина в эпоху, подобную нашей. Укрываться в тылу или даже делать общее дело с защитниками социального зла, под предлогом охраны преданий, значит предавать Христа и дело Его Церкви.

б) В выборе средств мы должны руководствоваться голосом христианской совести. Не считать, что нравственный критерий неприменим к государственному делу, но и не мечтать, что, берясь за него, мы можем сохранить себя в полной чистоте от греха. Все, что мы можем, это стремиться (но серьезно) к минимализации греха. Насилие есть грех. Насилие революции, даже в ее ограниченной форме, как восстания, переворота, есть тоже грех.

Решаться на него следует лишь в том случае, когда можно сказать себе с чистой совестью, что все мирные, законные средства исчерпаны; что тираническая и слепая власть не уйдет, пока не погубит вместе с собой свой народ. Тогда христианин обнажает меч. Но всегда для определенной, ограниченной цели, и притом политической. Мечом не преображают мир, не строят новое общество. Мечом освобождаются от тиранов — и только.

в) Революция в интегральном политическом смысле, как «великая» революция, раскалывающая весь народ в гражданской войне, исключается из числа политических средств. Ее зло превосходит то зло, против которого она направлена. На нее рассчитывать, на ней спекулировать, к ней призывать — преступление. Все сделать, чтобы предотвратить ее — наш долг. Так как, начиная восстание, хотя бы строго ограниченное в целях, никогда нельзя быть уверенным, что оно не приведет к гражданской войне, то это лишний раз обязывает к чрезвычайной осторожности в игре с оружием. Другой маленький практический вывод: не злоупотреблять

словом революция, обращаясь к массам. Не оставлять никаких сомнений в том смысле, в каком мы употребляем это слово. Лучше совсем избегать его, чем вызывать предположение, что христианин призывает к гражданской войне.

г) Если революция разразилась, вопреки нашей воле и вопреки нашим усилиям предотвратить ее, то перед фактом гражданской войны христианин свободен принять решение — одно из решений, полных трагизма и не обещающих никакого социального удовлетворения.

Первое из них и, быть может, самое естественное — воздержание от борьбы. Так как исход ее, каков бы он ни был, не сулит ничего доброго, то законно отказаться от участия в пролитии крови и бесчисленных преступлениях, связанных с гражданской войной. Здесь позволительно вспомнить, что общественная жизнь не совпадает с жизнью вообще, что есть много возможностей выполнить свой христианский долг и вне обязанностей гражданина: хотя бы, например, в делах простой человечности, в Красном Кресте при одной или обеих армиях, в той простой жалости к человеку, в которой он всего более нуждается в эти страшные дни. Неизбежный минус этого воздержания в том, что, устраняясь от гражданской войны, мы временно выходим из гражданского общества как такового и теряем непосредственное влияние на судьбу нации. Не участвуя в войне, мы не участвуем и в победе, не сулящей, впрочем, никаких надежд.

Второе решение — примкнуть к одной из воюющих сторон, в которой видят наименьшее зло (отнюдь не добро). Это решение наиболее трагическое, потому что оно требует участия в несомненных преступлениях ради полезностей сомнительных. Очень часто баланс преимуществ «левой» или «правой» победы колеблется. С ходом борьбы могут исчезнуть и те небольшие преимущества, которые обусловили наш выбор. Относительно выбора стана нельзя сказать почти ничего априорно. Так сложна и неповторима всякая политическая обстановка. Говоря абстрактно, христианину естественнее было бы стать в ряды бойцов революции, поскольку обновление жизни более согласно с христианской этикой, чем ее стабилизация. Но все зависит от характера этого грядущего «обновления», т. е. от программы, мирозерцания и духа борющихся сил. Выбор фронта может, наконец, диктоваться не идейным самоопределением, а кровной близостью — товарищества, класса, среды. Умереть со своими и за своих, разделить общую судьбу — это один из достойных видов смерти. Хуже — остаться живым и среди победителей. Для христианина это значит — всегда идти против течения, умерять проснувшиеся страсти, напоминать о со-

страдании к врагам, предупреждать о долге — словом, оказаться в числе «внутренних врагов» и стать предметом ненависти для своих же товарищей по оружию.

Третье решение — самое героическое и бесплодное: образовать свой собственный «чистый» фронт подлинно белых рыцарей справедливости, без всякой надежды на успех и победу. Это значит обречь себя гибели, но гибели славной, не на постели и не на эшафоте, а на поле брани против врага или врагов, непременно сильнейших. О таких героях национального освобождения сложена некогда итальянская песня, сохраненная нам Герценом:

Eran trecenti, eran giovani e forti,
E sono morti².

Но у тех была хоть надежда на победу, на лучшее будущее своей родины. У нас, в пору «великой» революции, не может быть никаких иллюзий. Кто бы ни победил в борьбе, это будет торжеством злых сил. Людям доброй воли революционного поколения надолго предстоит печальная судьба: остракизма, изгнания, внешнего или внутреннего исключения из гражданской жизни своей родины.

Но и этот печальный исход не означает для христианина неизбежности социального квиетизма. Изгнание — внешнее или внутреннее — из государства не лишает всех средств морального и даже политического влияния. Мысль, слово — то же оружие, и даже более эффективное, чем пушки и пулеметы. Только результаты их сказываются не скоро. Это тактика дальнего прицела. Давно замечено, что времена реакции часто оказываются самыми плодотворными в жизни идей. В эпоху внешнего бездействия мысль работает с особой остротой и силой. Изгнание выковывает (если не разрушает их окончательно) духовные силы. Весь XIX век Франция в значительной мере питалась запасом идей, выкованных в эмиграции. Для русского XIX века такой школой высокого давления была внутренняя эмиграция Николаевской России. Школа эмиграции, как и школа подполья, имеет свои болезни. Бороться с ними — первый долг нравственной гигиены. Но мы можем быть уверены: мысль и слово, как молитва, не пропадают. Нет ничего невероятного в том, что иная мысль, выношенная годами трудовых скитаний по камням Парижа или бессонными ночами в его мансардах, определит на века судьбу России.

